

Василий ШУПЕЙКИН ...РАНЕННЫХ Я НЕ ДОБИВАЛ

Рассказ

Дядя Миша перевернулся на другой бок... Цепляясь за иллюзорность видения, он попытался вернуться в сон. Зачем-то напрягся, крепко зажмурился, потом расслабился и вновь сжал веки...

«Всё! Просыпайся... Поднимайся... Нечего валяться, всё равно не уснёшь», – сам себя убедил старик. Лёг на спину, вытянулся во весь свой невеликий, в метр семьдесят, рост, потянулся руками к потолку и беззвучно, одними губами произнёс вечное обращение к Всевышнему: «Бисмилляхирахманирахим...» Повернул голову направо и умилился: свернувшись под простыней клубочком, мерно и мирно посапывала его ненаглядная жёнушка Марфуга. Русские соседи называли её Марусей. Да так это имя приклеилось к ней, истинной казашке, что он и сам нет-нет да и окликал любимую так же. Всё больше иронично, конечно, с присказкой или подначкой. В молодые годы, когда ревностно улавливал взгляды чужих мужчин, плотоядно обращённые в сторону её ладненькой миниатюрной фигурки, мог сказать: «Айналайын, ты зачем это платье в обтяжку нацепила? Эй, Маруся, будь скромнее!» Дядя Миша любил картофельные драники. И когда просил жену напечь ему этих, как сам называл, «беларуских бауырсаков», непременно обращался к ней по-русски. А вот она никогда не кликала его Мишей, называла только своим, данным при рождении именем – Мыкпышбай. Для неё, девушки, воспитанной в обычаях аула Великой степи и не растерявшей традиций в городской русскоговорящей круговерти, имя, данное человеку во время обряда Ат кою, священно и неприкосновенно. Ни разу в жизни она не назвала мужа Мишей, только уважительно и с почтением – Маке...

Умилившись жёниным посапыванием, Мыкпышбай-ага довольно бодро для своих шестидесяти шести лет и давным-давно израненных ног поднялся с кровати и, осторожно ступая по скрипучему деревянному полу хрущёвской квартиры, отправился на кухню – любой, даже очень обожающий драники или борщ казах утро начинает с чашки горячего и обязательно душистого чая.

Помешивая ложечкой янтарно-коричневый напиток, предчувствуя прелесть первого обжигającego и немедленно приводящего в бодрое чувство глотка, дядя Миша почему-то вспомнил годы военной службы: «И как я целых семь лет обходился без утренней чашки чая?..» Затронул старый солдат память, и унесла она его в далёкий 1938 год...

Его родной аул Терректы, что тысячу, а может, и больше лет тому назад приотился в песках Нарын, слыл в Западном Казахстане тихой гаванью – ни шума, ни гама, ни драк. Что касается пыли и жары – так на то они и пески, чтобы в летний зной, иссушивший последние капли весенней влаги и превративший траву в сено на корне, а редкие кусты – в безлиственные ветки, при малейшем дуновении ветерка начинать поползновение: мириады серо-буро-жёлтых песчинок сдвинутся с места, потрутся боками – вот и пылинки родились, песчаная пыльца. К концу лета она покроет собой всю округу. Аборигены привыкли и к ней, и к жаре. «А может быть, на всей земле так!» – думали люди, что веками населяли Нарын-пески, жили не тужили, работали, детей рожали, праздновали Наурыз, отмечали Курбан-айт, но в школе не учились. Школа пришла в эти края вместе с новой властью – рабоче-дехканской. Дядя Миша, тогда просто Мыкпыш-бала, и его сверстники смогли окончить семь классов и узнать про континенты, государства и климатическое многообразие земного шара. Несмотря на то, что аул Терректы со всеми обитателями как будто бы затерялся в песках и к концу третьего десятилетия двадцатого века всё ещё был лишён многих благ цивилизации, о нём знали не то что в Уральске и Алма-Ате, но и в самой Москве. А как же по-другому? Советская власть есть учёт и контроль всего и всех, что было на территории государства, равного одной шестой части всей сухопутной поверхности земли.

Проведали партийные руководители и о том, что Мыкпышбаю, сыну Имангали-ага, равно как и его кордасам-ровесникам Канату Карабалаеву и Бекену Темиргалиеву, пришла пора послужить в рядах Красной Армии. Но не повестку, как водится от военного комиссара, прислали, а сам лично вестовой красноармеец в их аул прибыл. Вернее, приехал на машине ГАЗ – по-народному «Полторка». Не гонять же за тремя призывниками целый ЗиС – «Захар».

Сутки на сборы! И – в путь. «Кайда барамыз? – Куда?»

– Не кудыкать мне здесь! – строго прервал разговорчики вне строя вестовой. – Куды прикажут, туды и пойдете...

Кто заплакал, кто запел, но дастархан начали собирать всем аулом – не первых джигитов провожали на службу в Красную Армию, что «... в небесах, на земле и на море» – всех сильней. К полночи стол ломился от яств: только мяса во всех видах казахских блюд – бешбармак, сирне, кауырдак, казы-карта, шужук... – не перечислить; рыба из реки Жайык-Урал тоже в изобилии, от простенькой сарожки до громадных копчёных кусков царской белуги, стерлядь целиком.

«И как только умудрились сохранить до осени белорыбицу? – почёсывая затылок и с восторгом оглядывая дастархан, размышлял красноармеец, покупатель призывников. – Наверняка здесь под землёй ледник имеется...» Имелась в местном колхозе и водочка. Её, всю бутылку, поставили перед человеком в военной форме. Не спрашивая, какого он чина и воинского звания, усадили на почётное место. С длинным напутствием, как служить, чтобы не опозорить свой род, аул и колхоз, выступил председатель колхоза Мустафа Нургалиев. Водка кончилась быстро, и красноармеец был с почётом препровождён в гостевую юрту на покой.

– Заптрева с рассветом – в путь, а мне рулить весь день. Так что – саламалейкум, – сказал он на прощание. Вместо тоста...

Аульчане пожелали ему здоровья – денсаулык болсын и выпили по очередной чашке кумыса. Пели песни. Весёлые – про любовь и печальные, про войну с джунгарами. Танцевали азартный и темпераментный танец «Каражорга» – косились на аульных красавиц, вызывали на круг, но кроме двух вдовушек другие женщины не вышли: постеснялись исполнять разжигающие страсть движения. Потом кто-то затянул, и со второй строчки подхватили все песню «Дударай», которую сочинила своему возлюбленному кудряшу-джигиту русская переселенка Мария Рыкина. Историю их любви знали все. И, как только начиналась песня, за дастарханом начинались перешёптывания: «Вот она какая, настоящая любовь – не только язык наш выучила Марьям, но и мелодии Великой степи в душе своей поселила...» Да уж, казахи народ благодарный и благородный, не понапрасну славятся гостеприимством на весь мир. Точно подмечено: юрта кочевника – общественная столовая в степи.

Душевно пели. А про кучерявого джигита – особенно. При этом ласково поглядывали на Мыкпыша – он тоже имел курчавую шевелюру.

– Эх, – выдохнула по окончании песни запевала Гульзада, – срежут кудри у джигита. Жаль мне тебя, красавчик...

– Что ты понимаешь, женщина, – боевито вступил в разговор парторг. – Я окончил военные курсы ДОСААФ и знаю, что бойцу волосы на голове – помеха. Пилотка сползает с головы, а под каской волосы пот вызывают. Он потечёт по лбу на глаза! А если в этот момент противник наступает? А? Что скажешь, айналайын-дорогуша? Как через пот боец целиться станет?

Не давая опомниться парторгу, кто-то выкрикнул:

– А волосы только на голове бойцу мешают?

Грянул хохот. И тут же подростки, братья-близнецы Серик и Кайрат, ударили по струнам – две домбры завели терме-соревнование. Всеобщее веселье по «печальному» случаю проводов в армию аж трех работников колхоза достигло апогея – пели и танцевали так, что председатель дважды хватался за сердце. А может, переживал бастык, предчувствуя, что с отчётом о «перевыполнении» годового плана ему придётся поморозить хитро, иначе... Невесело было только четверым: трём рекрутам и ученице седьмого класса, девушке по имени Марфуга... Через три года, аккуратно к завершению срока службы Мыкпышбая, она увидит на конверте номер его войсковой части и, рискуя быть

ославленной за девичью нескромность, напишет джигиту, что живёт в городе Алма-Ате, где учится на учителя, и, если он будет ехать домой через столицу республики, то ниже – адрес общежития... Ну и всё такое прочее – про учёбу, алма-атинские красоты, родной аул, в который они в июне следующего 1941 года возвратятся вместе, возможно...

– Пора, сынок, – мать прикоснулась к плечу Мыкпыша. Он мгновенно проснулся и поднялся на ноги. – Попей чаю перед дорогой, мышонок мой. Будешь на службе – сам себе чай заваривай, – наставляла сына мать. – Заварку не переваривай. Молоко подливай горячее, а то остудишь чашку...

«Эх, мамы вы наши, мамы, – вспоминая через полвека родной очаг, вздыхал дядя Миша, – да уж, попил я в армии чаю с молоком, как же...»

Вещмешок с едой и полотенцем, куском мыла и запасным бельём понёс до машины братишка. Больше в их семье никого не было – отец умер десять лет назад. К полуторке они пришли раньше других, за что вестовой тут же объявил призывнику Талапжанову благодарность и пообещал, что служить такой дисциплинированный и исполнительный человек будет в самой лучшей войсковой части. Мама сказала ему: «Рахмет!», потом ещё раз «Коп-коп рахмет» и протянула бутылку с кумысом, в горлышко которой была вставлена кожаная пробка. И сама бутылка, и удерживающая кумыс толстая кожа были в их доме единственными, а потому бережно хранимыми вещами.

– О-о-о! Молодец, догадалась, что у меня нутро горит, – схватив подрагивающими руками материнский дар, благодушно затараторил солдат. – Вот я сейчас похмелюсь... Это что, самогон?.. Вы здесь что, гоните его... из верблюжьей колючки?..

Он приложился к горлышку, запрокинул голову и забулькал вожделенной влагой. Полбутылки с одного приклада! Смачно отрыгнул, сцикнул слюну сквозь редкие зубы и расплылся в улыбке:

– Благодарствуйте, добрая женщина! Кислятина, конечно, но приятно освежить. – И тут же, резко сменив тон на командирский, подал сам себе и трём джигитам команду: – Я – за руль, ты, – указал пальцем на Мыкпышбаю, – в кабину, вы двое – в кузов: по местам!

Пока призывники в очередной раз прощались с родичами и соседями, захорошевший после приёма внутрь опохмелочного зелья командир приложился к бутылке ещё раз и со всей пролетарской ненавистью допил остатки кумыса. Бросил бутылку в песок обочины, вскочил в кабину и нажал на сигнал. Ещё миг – мотор полуторки набрал обороты и, поднимая колёсами пыль, маломерный грузовик двинулся навстречу зардевшемуся над барханами солнцу. Уже через мгновение Мыкпыш, до сих пор гордившийся своим кабинным положением, позавидовал Канату и Бекету – им из кузова на несколько минут дольше был виден родной дом – очаг предков их рода аул Терректы...

«Однако не так уж и плохо мне было в кабине, на пружинном сиденье, – отхлёбывая остывающий чай, вспоминал дядя Миша. – Считаю, профессию тогда обрёл, по случаю...»

А случилось то, что и должно было случиться: сначала приободрённый кумысом, а потом разморённый им же и вчерашней водочкой солдат-шопр, едва выведя полуторку на степной простор, остановил машину. Зевнул на всю ширину рта, обтёр лицо руками и обратился к пассажиру:

– Слышь, джигит, как тебя там? Мак-пыш-бай? Ааа, язви меня, не запомню, короче, будешь Мишкой! А чё? Миша, Михаил – хорошее имя. Ты случаем рулить машиной не умеешь? Давай я тебя щас подучу...

Парень от удивления выпучил глаза и, отрицая предложение, замотал головой. Но увидав, как посерьёзнел командир-шопр, сдался на его милость. Три раза не мог тронуть машину с места Мыкпыш. Потом, поняв суть действия педали сцепления, рванул с места так, что джигиты в кузове в один голос закричали: «Ойбай!» Полуторка сначала медленно, потом убыстряя ход покатила по колее степного пути, едва обозначенной колёсами телег и редко проезжавших здесь автомобилей.

«Получается, этот красноармеец мне тогда и новое имя дал, и будущей профессией заразил...», – размыслил дядя Миша и допил остывший чай. – Нет, не то... Мама как-то по-другому заваривала... Жаль, что больше не довелось спросить у неё секрет...»

Почти десять лет он мечтал вернуться к родному очагу. Когда выпадала возможность, писал письма домой. Первые три года службы на пограничной заставе получал на них ответы. Потом связь с домом оборвалась – началась война...

Срок его службы завершился 21 июня 1941 года. За рвение в боевой подготовке и неоднократное участие в задержаниях нарушителей границы, что накануне гитлеровского вторжения пытались прорвать государственный рубеж довольно часто, пограничника Талапжанова поощряли не раз. Сам начальник Ломжинского пограничного отряда подполковник Ермашевский рекомендовал сержанту выучиться на офицера, для чего и выписал ему билет-требование на проезд до Алма-Аты. «Там – лучшее погранучилище, джигит, – говорил он Мишке. Езжай на родину, учись и возвращайся на службу – ты истинный пограничник». Но... Не то что до Алма-Аты, столицы своей исторической родины, но даже до Москвы, которую ему так хотелось посмотреть хотя бы при пересадке на казахстанский поезд, добрать судьбы не выпало. Остановил его военный патруль и завернул в обратную от восточного направления сторону...

То, что случилось потом, 23 июня, дядя Миша вспоминать не любил и никогда никому не рассказывал... Таких же, как он сам, но по большей части спешно мобилизованных в военкоматах, экипировали, усадили в поезд и направили в сторону, где «...Вчера, без объявления войны германские войска перешли границу Советского Союза...».

Пограничник, назначенный командиром отделения комсомольцев-добровольцев, уже через несколько часов пути увидел, как неописуемый хаос окутал ещё вчера мирное существование благодатной белорусской земли – узлы, чемоданы, повозки, машины. Все и всё, что двигалось и способно было перевозить людей с грузами, куда-то спешило. На вокзалах и станциях железной дороги, в обе стороны занятой паровозами и вагонами, спешно ставились составы поездов. В сотни, в тысячи раз больше было тех, кто, в отличие от мобилизованных, устремился на восток.

«Как же так! – возмущённо думал хорошо подкованный в боевой и политической подготовке воин. – Мы же должны дать отпор врагу, агрессору. Вот и в песне слова говорят о том, что “... если завтра война, если завтра в поход, если чёрные силы нагрянут, как один человек вся родная страна на суровую битву восстанет”. А эти бегут! Наш политрук уверенно говорил: если что, мы будем бить врага на его территории... Но мы едем по своей и никак не доедем...»

Эшелон постоянно замедлял ход, на полустанках из паровоза выскакивали командиры и пытались связаться с командованием. Было слышно, как в очередной раз связист или кто-то из посыльных кричал, что связи нет! И поезд продолжал медленное движение.

– Скорее бы уже приехать! – то тут, то там боевито восклицали не нюхавшие пороха бойцы. Многим из них казалось, что они – сила, мощь Красной Армии. И стоит только фашистам столкнуться с ними нос к носу – побегут враги в свою Германию как миленькие.

– А мы им по пяткам из «Максима» – тра-та-тататата! – изображая пулемётчика, под всеобщий хохот дурачился белобрысый боец, так же как и Мыкпыш только что уволенный в запас, но возвращённый войной в строй.

Всеобщее буйство не к добру разыгравшегося веселья прервало экстренное торможение поезда – с багажных полок полетели люди и вещмешки, банки и коробки с сухим пайком на трое суток. Когда сержант Талапжанов со своим отделением получил продукты у завскладом, хитрован-продовольственник всё норовил не выдать им тушёнку и сгущёнку. «Всё никак не нажрётесь... Господи-я! Едете на сутки-то всего. Щас навалитесь на гадов, отправите их через Буг восвояси и – по домам. А продукты побросаете...» Но Мыкпыш всё одно тщательно проверил содержимое пайка. Следом за грохотом падающих банок и криком свалившихся с полок людей вагон наполнился усиливающимся с каждой секундой ровным гулом.

– Воздух!!! – истошно заорал комроты. – Покинуть вагон!..

Ещё не организованная по-военному масса вчерашних гражданских людей бросилась к выходу. Началась давка – затор. Мыкпыш отдал команду: «Отделение, в колонну по одному!...» И это было последним в той жизни, что впоследствии всегда именовалась: «До войны»...

«Вчера в России отмечали День памяти и скорби... Отмечали?! Так диктор сказал, – подумал дядя Миша. – Раньше, в СССР, мы 22 июня не отмечали, но помнили... И у нас в Казахстане помнят, когда и как война началась, но не отмечают это. А кто ж забудет, когда наших земляков сотни тысяч в землю зарыли. Считай, от Москвы до Берлина косточки джигитов до сих пор покоятся... Где же всех перезахоранивать? Миллионы советских людей погибли. А я остался жить... Сегодня – второй день моего рождения. Спасибо, коп-коп рахмет, шчыра дзякую табе, немец». От накотивших воспоминаний горло дяди Миши сжалось, как будто затворилось комком. Захотелось курить, да врачи не рекомендовали ему этой забавы. Как дисциплинированный и исполнительный сержант пограничник, он старался рекомендацию блюсти. Но сегодня, 23 июня... «Ааа, язви его в душеньку, – вспомнилось ему, как ругался старшина погранзаставы, – сегодня одну позволю себе – такой день...»

Два немецких самолёта налетели на их эшелон, как степные копчики налетают на стаю воробышков. И разметали вагоны с паровозом в пух и прах. «Пух» – это про воробьёв, а тут груды искорёженного металла, черный дым и нестерпимый жар пожарища. А они-то думали, что – герои! Сейчас доедут до места, где враг прорвался, и к утру начистят немцам ряхи. Но рванули авиабомбы, затряслась земля. Вмиг покрылась округа остатками вагонно-паровозного металла и кусками тел только что разговаривавших меж собой ребят. Весело ехали на битву... А оно вон как получилось! Переменилось настроение. Мало кому повезло остаться на ногах, и те побежали; раненные отползали подальше от горевших остатков поезда – стонали, но ползли, стараясь не касаться чьих-то рук, ног, голов...

Мыкпыш, приоткрыв веки, не мог понять: он ослеп или наступила ночь? Ехали посветлу. «Наверное, меня контузило», – попробовал он диагностировать своё состояние и решил повернуться. Резкая боль не позволила ему двинуться с места, и совсем тусклый свет луны мгновенно померк... Второй раз он пришёл в сознание, когда рассвело. Хотелось пить. И не просто набрать в пересохший, ставший почти деревянным рот воды и проглотить её. Ему захотелось чаю, мамино чёрного чаю с молоком. Щекой он ощутил влагу – значит, роса легла перед рассветом! Ни с того ни с сего на ум пришла строка из песни про трех героически бывших врагов танкистов: «На траву легла роса густая...» Хорошо бы, чтоб роса была посмачнее, погуще, пожирнее, как верблюжий шубат. Он потянулся головой и языком к ближайшей веточке и в этот момент услышал немецкую речь. Близко! Прямо над собой! Лязгнул затвор оружия, и в этот момент один из немцев резко сказал: «Найн!» Пограничник замер. Но тут же решил: притворяться убитым поздно – фашисты поняли: жив этот солдатик. Между немцами началась перепалка, короткая и беззлобная. Наконец один из врагов перевернул раненого на спину. Страшная боль вызвала у него тягучий стон, голова загудела как рельс, по которому в их колхозе били вместо колокола, чтобы собрать народ на политинформацию и объявить, что Красная Армия от казахских степей до холодных морей всех сильнее. Как терпеть? А политрук учил: русские не сдаются и не просят пощады. От невыносимой боли вновь отказало сознание...

«Не умер...» – мелькнула мысль, когда вновь пришёл в себя. В траве, совсем рядом, Мишка увидел хлеб, завернутый в прозрачную бумагу, и фляжку с водой. На ногах, в тех местах, где брюки задубели от высохшей крови, белёсо виднелись бинты – они-то и остановили кровотечение. Крови, судя по тому, что она наполнила даже сапоги, вытекло из его молодого, сильного, тренированного трёхлетней службой и колхозными вилами тела много. Но пули, застрявшие в плоти, напоминали о себе при каждой самой незначительной попытке перевернуться на живот, чтобы ползти. К полудню он съел хлеб и выпил всю воду. «Остаётся ждать, когда придёт каскыр, наш казахский степной волк», – подумал сержант. Ему хватило сил на ухмылку – каскыр? В белорусском лесу? И в этот момент он услышал, как зашелестела листва – ну вот он и пожаловал, учуял запах крови. Мыкпыш закрыл глаза и совершенно явственно вспомнил, как мама читала суру Корана. Он судорожно стал вспоминать слова молитвы и зашевелил губами.

– О, глядзи, жиу солдатик! – произнёс кто-то, совершенно не приглушая звука – значит, фашистов рядом не было...

Белорусский говор был ему, казаху, сродни своей фонетикой. По крайней мере произнесением «у» вместо «в». Например, по-русски имя великого Ходжи Ахмеда Ясауи говорят и пишут как Ясави. Есть и другие фонетические схожести, но не о них сейчас и раньше, на службе, думалось джигиту...

Стоя на балконе четвёртого этажа, пуская в испорченную атмосферу Алматы клубы сигаретного дыма – такого сладкого и манкого в этот редкий раз, дядя Миша, улыбаясь, вспоминал белорусский язык – речь своих боевых партизанских товарищей. Многое забылось, но кое-что из его памяти годы не выветрили. «Остались, сябры?» – спрашивал командир отряда Алесь Савицкий разведгруппу, вернувшуюся после двухсуточного бессонного рейда по немецким тылам в глубину леса. «Так точно, товарищ командир!» – отвечали разведчики: русский Виталий, татарин Фархад, чеченец Вахит и он, казах. «Тогда отдыхайте!» – осознавая, что перед ним «сборная национальная», переходил на русский язык Алесь. Очень уважал он казаху за неутомимость в бытовых делах, коих у партизан всегда неуворот, да за высшую школу маскировки, обрётённую в дозорах и секретах погранзаставской службы.

«Вот бы поехать в Беларусь! Пройтись по местам, как теперь принято говорить, боевой славы... – не в первый раз задумался старый партизан. – А чего я всё боюсь, теперь-то уж можно. Вот же и удостоверение на право льгот, как участнику войны, выдали. Десять лет не давали, всё проверяли...». Лицо старика помрачнело.

...Найти-то его нашли, вылечили раны, научили ходить с костылями, а потом и без них, в партизаны зачислили, но у притащивших израненного бойца все-таки закралось подозрение: а кто же его перевязал? Сам он этого сделать не смог бы физически, а на вопросы отвечал одно и то же – не знаю! Но вскоре вопросы исчезли – воевал казах лучше и результативнее многих. Лишь в декабре 1943-го по его душу в отряд, к тому времени имеющий официальный статус и поддержку командования фронтом, пришёл особист по фамилии Серебрянский. Говорят, из самого только что освобождённого Киева прибыл он за первой своей фронтовой наградой – паркетным офицером, что служили в кабинетах, медалей не давали. И вновь начались поиски того санитаря, что оказал помощь раненному казаху. Через пару дней у оперативного сотрудника возник ещё один, более щепетильный вопрос:

– Говорят, товарищ Мыкпышбай Талапжанов, ты врагов жалеешь?

– Никак нет! – ещё не понимая, что кто-то из своих его сдал, чётко ответил партизан-разведчик Мишка.

– За языком зимой ходили?

– Так точно!

– Брали двоих, а привели одного...

– Не привели, на себе притащили, – поняв, о чём речь, гневно уточнил разведчик. – Второй был тяжело ранен – не донесли бы.

– Почему не пристрелили? – Капитан госбезопасности с ехидцей в голосе и хитрецким прищуром глаза наклонился к самому лицу Мишки.

– Раненых я не добиваю, товарищ капитан, – подавляя предательский комоч в горле, прохрипел допрашиваемый.

– Встать! – взвизгнул особист и сдёрнул двумя руками Мыкпыша с самодельного табурета. – «Товарищ», говоришь? Я для тебя с этой секунды «гражданин начальник»! Понял, морда твоя скуластая? Говори, когда тебя завербовали?! – капитан подкрепил вопрос ударом в лицо. Потом ещё и ещё раз бил по не понравившимся ему скулам онемевшего от шока казаху...

Часто, очень часто вспоминал он допрос и арест. Но и в застенках районного отдела НКВД, и в лагере для лиц, чья фронтовая судьба проверялась и перепроверялась компетентными органами, и после, когда вместе со всеми «фильтруемыми» радовался победе, размышлял и вычислял Мыкпышбай, кто рассказал особисту о его решении не добивать раненного немца? Так и не вычислив патриота-доброхота, помощника капитана Серебрянского, очищенный от скверны подозрений, в начале 1946 года убыл Мишка в город Алма-Ату. По настоящему счастливый случай – именно такой путь был предписан ему в день увольнения со срочной службы 21 июня 1941 года.

«Да, не зря русские говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло», – не раз вспоминал судьбоносный момент бывший фронтовик. Восемь дней катился «пятьсотвеселый» поезд через половину страны с запада на восток. Восемь дней и ночей думал и представлял пограничник-партизан, как будет расспрашивать людей в поисках педагогического института, в котором учился его землячка Марфуга. И сам себя измучил мыслями – почему именно к ней, а не в родной аул едет он сейчас...

Дядя Миша докурил сигарету, тщательно очистил пепельницу, окурочек завернул в клочок газеты – жена будет ворчать, рассказывать, как вредно ему курить. Зачем её расстраивать? Он заглянул в спальню, где всё так же мерно и мирно посапывала Марфуга. Улыбка украсила его морщинистое лицо. «Жаным! Спи, моя милая, всё у нас хорошо – дети и внуки в порядке...» Он вернулся на кухню, выключил свет – солнце поднялось над восточными склонами Алатау и ярким лучом проникло во все квартиры их трёхподъездной хрущёвской четырёхэтажки – и вновь поставил на плиту чайник.

...Алма-Атинский вокзал ничем не отличался от других вокзалов больших городов – толчея, суета, шум-гам, короче говоря, круговерть. Куда идти? Эх, была не была, решил Мишка-Мыкпышбай, куда все пойдут, туда и я отправлюсь.

«Надо же, конец февраля, а тепло. Ватник надо снять... – шёл и размышлял он, оглядывая постройки вдоль улицы, которая, судя по редким табличкам, именовалась Узбекской. – Смотри-ка, пыль везде столбом. У нас в Белоруссии в лесах снег ещё лежит...» Поймав себя на мысли, что он уже не пограничник заставы Куреевка и не партизан в белорусском лесу, а прибывший в родной Казахстан демобилизованный сержант, парень улыбнулся. Ему захотелось петь «Катюшу» и шагать строевым шагом. Но ни того, ни другого в толпе людей с чемоданами и котомками, шагающими в сторону покрытых вечными ледниками гор, делать нельзя. Мыкпыш шёл часа два. По мере приближения к центру Алма-Аты толпа рассасывалась, но он оставался с частью тех, кто молчаливо и без стенаний на судьбу волочил пожитки к единственно им известным адресам.

Адрес! Вот о чём забыл Мыкпыш! Как упомянуть его, если ещё в первый день ареста особист забрал у него всё, что свято хранилось в землянке? Изъял! В том числе единственное письмо от неё... «То тэбэ бильшэ нэ трэбо», – почему-то не по-русски сказал он и оскалился в хищной мелкозубой улыбке...

Уже видны были высоченные, аж трёхэтажные дома. Жаркий полдень заставил многих путников стать в очередь к единственной водокачке, источнику питьевой воды обитателей низкорослых мазанок. За Мыкпышем пристроились двое пяти-шестилетних пацанят-балашек. Сначала они стояли смиренно, но в какой-то момент стали по очереди забегать вперёд и откровенно заглядываться на солдата. Потом, коротко пошептавшись, схватили пустое ведро и бросились бежать. «Интересные ребятишки, – оценил поведение мальцов Мыкпышбай. – И чего всполошились?» Дождавшись своей очереди, он приложился к водяной струе и от души стал вливать в себя холодную, показавшуюся ему нектаром, воду. И опять, забыв, что находится на родине, подумал: «У нас в Белоруссии вода не такая вкусная...» Напившись, выпрямился, повернулся кругом и обмер... Он узнал её сразу – Марфуга! Позади прятались те двое, что заглядывались на него. Конечно, это была совсем не та девочка, что украдкой следила за ним в ночь призыва на военную службу, тогда, восемь лет назад. Фигура всё ещё оставалась почти девичьей, миниатюрной, но отнюдь не угловатой. А лицо обрело черты до этой секунды невиданной Мыкпышбаем красоты. Ему вновь захотелось воды...

Оказалось, что ребятишки – не её дети, а хозяйки комнаты, что снимала молодая учительница для жилья. Они часто слышали о солдате, которого ждёт Марфуга-тате, знали, что он не орыс, а казахский джигит. И когда видели молодого казаха в военной форме, немедленно сообщали об этом жиличке. И надо ж было такому случиться!

«...Да-а, – много раз вспоминая прожитое, сам себе удивлялся Мыкпышбай. – И ведь никому не расскажешь – ни про немца доброго, ни про случившуюся жажду: не захотелось бы воды попить, не остановился бы у этой водокачки... Не поверят... Неведомыми путями водит нас судьба».